

Т. А. Касаткина

КНИГА ИОВА КАК ЭТАЛОН ПРИ ПРОЧТЕНИИ «БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ»

Владимир Эрн, характеризуя сущностные особенности русской мысли, утверждает, что для того, чтобы адекватно понимать мысль Гоголя, Достоевского, Соловьева, мало знать то, что они написали и сказали, но нужно знать, как они жили и что пережили¹. Перефразируя В. Эрн, можно сказать, что для того, чтобы не запутаться, не истолковать мысли Достоевского противоположным образом, нужно обратиться к его чувствам, нужно «встать на его точку», потому что без постановки на эту точку, как хорошо понимает, например, Иван Карамазов, одни и те же факты могут привести к совершенно различным умозаключениям и стать основаниями для противоположных теорий.

Итак, обратимся к чувствам. В письме А. Г. Достоевской от 10 / 22 июня 1875 г. из Эмса Достоевский пишет: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг; бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача, и если б только не подлейшие примечания переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!» (29₂; 43).

О том, какое это могло быть издание и какого рода примечания, существуют различные мнения². Несмотря на всю важность для нас выяснения

¹«Персонализм русской мысли имеет **существенный**, а не случайный характер. Тайны Сущего раскрываются в недрах личности. Божественное Слово, проникая **всею** человека, по существу не может всецело выразиться в том, что в человеке **не** есть все, — т. е. в **сознании**. Сознание, даже творческое, гениальное, в некоторых отношениях поражено афазией, ибо тишину нельзя выразить никаким звуком и молчание нарушается словом. Но тишина не нарушается чувством и молчание сохраняется в действии. Вот почему мало знать, что написали и что сказали Гоголь, Достоевский или Соловьев, нужно знать, **что** они пережили и **как** они жили. Порывы чувства, инстинктивные движения воли, вырвавшиеся из несказанной глубины их молчания, нужны не для простого **психологического** истолкования их личности, а для углубления в „**логический**“ **состав их идей**. Для рационалиста присутствие переживания или индивидуального тона мысли есть признак **психологизма**, т. е. затемненности и порабощенности мысли. Для „логиста“ нижний, подземный этаж личности, ее иррациональные основания, уходящие в недра Космоса, полны скрытым **Словом**, т. е. Logos'ом». (Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 90).

² Н. В. Балашов в статье «Иов „с подлейшими примечаниями“: что же читал Достоевский?» (Достоевский и мировая культура. СПб., 1996. № 6. С. 82–86), оспаривая иные предположения, считает, что Достоевский читал книгу Иова, переведенную на русский язык епископом Вятским Агафангелом (Соловьевым). Примеры примечаний переводчика: «Праведник <...> в том лучшем мире за все страдания получит от Бога вознаграждение. Сия уверенность прольет благодетельный свет на мрачную стезю нашего земного

этого вопроса, мы пока на нем останавливаться не будем. Обратим внимание на эмоции по поводу собственно книги Иова: болезненный восторг, испытываемый от книги, поразившей еще почти во младенчестве, — и счастье до слез.

В статье С. Г. Бочарова «О религиозной филологии», написанной по довольно конкретному поводу, есть, тем не менее, ряд положений, которые принадлежат не только автору статьи, но, будучи практически общепринятыми среди читателей и исследователей определенного умонастроения, являются своего рода теоретическим фундаментом для интерпретации произведений Достоевского. К таким «положениям» относится утверждение, что «бунт Ивана Карамазова есть бунт самого Достоевского», что бунт этот подобен «бунту» Иова, и объявление тех, кто с этим не согласен, «друзьями Иова»³.

Прежде чем перейти к логической уязвимости этого положения, обратимся, опять-таки, к чувствам: представим себе, что должен переживать человек, слушающий не монолог Иова, а монолог Ивана. Впрочем, у монолога Ивана есть слушатель, чьи чувства зафиксированы самим Достоевским. Выписываю их в том порядке, как они отмечены в тексте: «Мучаю я тебя Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. — Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша» (14; 221). «Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата» (14; 221). «Для чего ты меня испытываешь? — с надрывом горестно воскликнул Алеша, — скажешь ли мне наконец?» (14; 222). «Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша» (14; 223). Эти мука, надрыв и горечь вовсе не похожи на «болезненный восторг», равно как и тихий безнадежный приговор (о том, что приговор безнадежен, скажет сам Иван: «Я бы не хотел от тебя такого слова <...> Можно ли жить бунтом, а я хочу жить» — 14; 223) не похож на счастье.

Болезненный восторг и счастье до слез Алеша испытает совсем в другой ситуации (поход к Грушеньке): когда он, ожидая встречи с безжалостным врагом и погубителем, окажется лицом к лицу с «сестрой» милой и кроткой; когда он, ожидая найти пособницу своего падения и осуждения, встретит протянутую руку помощи Господней.

Таким образом, на эмоциональном уровне «бунт» Ивана оказывается полностью неадекватен книге Иова — да и в самом деле, можно ли испы-

странствия и никогда не позволит нам произнести на Бога тех жалоб, которые исторгло у страждущего Иова чувство его болезней и жестокое подозрение его друзей». «Дети злодея должны нести наказание за несправедливость их отца, если над ним самим не разразилось мщение. Ибо Бог так устроит, что потомки его впадают в бедственные обстоятельства...» (Книга Иова в русском переводе с краткими объяснениями. Вятка, 1860. С. 87, 168).

³ См.: Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 598–599. [С. Г. Бочаров цитирует С. И. Фуделя, не согласного с тем, что «бунт Ивана не есть бунт Достоевского». Бунт Достоевского существует, но он, так же как все его неверие Фомино, только углубляет веру, и его, и нашу. Это „бунт“ Иова» (Фудель С. И. Наследство Достоевского. М., 1998. С. 209), — и продолжает: «Бунт Иова ведь тоже „мира Божьего“ не мог принять и был в итоге оправдан Богом» (С. 599). — Ред.]

тывать «болезненный восторг» и счастье до слез при чтении обвинительного протокола — даже и в том случае, если мы будем абсолютно солидарны с обвинением? Нужен совсем иной поворот, чтобы вызвать в нас эти чувства. Этот поворот не предусмотрен Иваном, но он предусмотрен Достоевским: читатель должен лишь вовремя заметить, на фоне каких текстов бросает Иван свои обвинения Богу.

Перейдем от чувств к логике. Дело ведь даже не в отсутствии должного чутья на, скажем, «метафизическую порядочность» у тех, кто лукавый бунт Ивана, желающего совратить Алешу, Ивана, жадно припавшего «к кубку» этого самого «не принимаемого им мира Божьего», Ивана, оскорбляющего и обижающего ребенка (о чем скажет ему Алеша), — кто этот бунт, соответственно, сравнивает с «бунтом» праведного страдальца Иова. Потому что здесь главное даже не в качествах действующих лиц — главное (и это упускают из виду все апеллирующие к «бунту» Иова) в том, что Иов и все оправдываемые посредством такой апелляции персонажи находятся *в качественно разных состояниях мира*.

Иов «бунтует», находясь в мире, отпавшем от Бога, не знающем Бога, и он не бунтует вовсе — он *ищет* Его, и его вызов — именно последняя отчаянная попытка обрести Бога. Иов жалуется: «Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов. 9: 32–33). Иов верит и сохраняет верность Тому, Кого не знает, он лишь взывает к Нему и вызывает Его. Он знает силу Бога и не знает лица Его: «Если бы я воззвал, и Он ответил мне, — я не поверил бы, что голос мой услышал Тот, Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, кто сведет меня с Ним?» (Иов. 9: 16–19), — но, едва лишь увидев Его, отрекается от «бунтарских» слов своих: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42: 5–6). Он знает долю человеческую, и не знает Господня замысла о человеке. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут <...> А человек умирает и распадается; отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иов. 13: 7–12). И далее — слова, прямо противоположные Иванову «возвращению билета»: «О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне! Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена» (Иов. 13: 13–14).

То есть Иов «бунтует» в той ситуации завершения жизни человеческой в пределах земных, которую лукаво будет предполагать Иван, зная уже всем доступным человеку знанием, что «если Бог есть» (то есть если есть к Кому вообще обращать свой бунт) — она не такова.

Все те, кого обычно сравнивают с Иовом, бунтуют, находясь в мире, воссоединенном с Богом искупительной жертвой Христа, который, будучи

Богом и Человеком одновременно, как раз и «положил руку свою на обоих» и явил дольнему миру лик Господень. В мире, где вне Господа пребывает лишь тот, кто сам выбирает такую позицию, кто *предпочитает* бунт. «Бунт» Иова — порыв и прорыв к Богу. Бунт Ивана Карамазова — отказ, отворот, отречение от Бога. Если здесь не видеть разницы, то, право, Достоевского читать бессмысленно. Но дело в том, что если обращать внимание на фразу, жест и положение вне общего контекста, вне мировосприятия автора, вне общего замысла романа, то с легкостью можно противоположное принять за то же самое.

Для Иова человек — самая слабая и нежизнеспособная из Богом созданных тварей, и он только удивляется Божью к нему пристрастию, требовательности и неотступности, восклицая: «Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?» (Иов. 7: 17–19). В ситуации после Боговоплощения человек уже знает, что он — самое дорогое Богу, что за него принес Бог величайшую жертву нисхождения Своего до дна тварного мира и остался с ним в этом мире, чтобы служить ему дверью в мир иной, питая его Своею плотью и кровью. Бог потому так хвалится Иовом, что Иов — доказательство и свидетельство способности человека любить и быть верным, как Бог, — а Бог остается верен тем, кто отвернулся от Него, любит тех, кто покинул Его, спасает тех, кто предал Его на распятие. О верности и любви Бога дивно пишет митрополит Сурожский Антоний: «И вот Бог, Который есть живая любовь, Который всего Себя отдает нам, говорит: однако ты свободен Меня отвергнуть... Есть пословица: *Человек предполагает — Бог располагает*. Это неправда: Бог, по Своей любви, как бы применяется к тому, что решит человек, но Он не поступает так, как мы, люди. Огорченные, обиженные, мы отворачиваемся, отходим, — Бог не отходит, Он остается верен. Бог создал мироздание, которое было сплошной гармонией в своей весенней невинности, и это мироздание рухнуло; рухнуло грехом ангельским, рухнуло грехом человеческим, — и что? Бог Своего суда не произнес; Бог не отвернулся; только Его любовь, которая была ликующей радостью, стала крестным страданием. Та же любовь — но теперь на теле воплощенного Бога следы гвоздей, и копыя, и тернового венца, и креста на плече»⁴.

Как похожа эта история на историю Иова... Только пока без благополучного завершения. Господь все сидит во прахе и пепле и глиняным черепком соскребает со Своего пречистого тела гной от проказы наших грехов.

«Бунт» Иова сродни борьбе Иакова с Богом — «не отступлю от Тебя, покуда не благословишь меня», — а вовсе не стремлению Ивана устроиться как боги и без Бога.

Но и еще заметим: вся книга Иова — о том, что никто *со стороны* не может быть судьей между Богом и человеком; о том, что каждый может

⁴ Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. М., 1991. С. 154–155.

знать и судить лишь в *своем* деле. Иван поступает не как Иов, но как раз как друзья Иова — только они брали сторону Бога, а он берет сторону человека, но и он и они берутся *судить не в своем деле*, самовольно берут на себя роль третейских судей, вместо того, чтобы делать дело свое, всякому заповеданное, — то есть сострадать и помогать. Но даже и между человеком и человеком не поставлен судить никакой человек, потому что между ними судит Бог. И жертве дана Богом огромная власть — власть прощения на кресте: «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят». Это прощение, которого никто отменить не властен, прощение, которым прощен каждый в человечестве, ибо каждый — участник Христова распятия. И вслед за Христом эта власть дана каждому мученику, каждому страдальцу, каждому обиженному — и их прощение тоже никто отменить не властен, потому что тогда, тем же законом, должно было бы быть отменено и прощение Христово. Иван, со свойственной ему гениальной казуистикой, чтобы поставить под сомнение возможность «гармонии», настаивает на невозможности простить страдания *за другого*. И, как всегда, берет неотразимый пример: «Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, **хотя бы сам ребенок простил их ему!**» (14; 223). И как всегда передергивает, ибо последней фразой он утверждает не неоспоримую невозможность прощения за другого, — чувствуя здесь слабость своей аргументации — ведь другой может простить свои страдания сам, и из чего тогда бунт? Он отрицает *неотменимость прощения за себя*, он отрицает последнее и непререкаемое право жертвы простить мучителю, право последнего слова жертвы, освященное страданиями Христовыми⁵.

⁵ Иван отрицает то, чем только держится и спасается земля. Протоиерей Александр Шаргунов в проповеди в день убиения Царской семьи говорит: «Зло раскрылось в те дни, кажется, в предельной полноте, но не темным ужасом веет от тех дней, а радостью пасхальной победы. Святые мученики и исповедники явились победителями зла. Победа их в том, что они приняли Крест Христов как исполнение заповеди о любви к Богу и человеку. Не тем поражает жизнь святых, что с потрясающей достоверностью воскрешает в наши дни древние чудеса, а тем, что доказывает: не бывает таких обстоятельств, когда исполнение заповеди Божией становится невозможным. Новомученик митрополит Владимир Киевский перед расстрелом, воздев руки вверх, так молился Богу: „Господи, прости моя согрешения, вольная и невольная, и прими дух мой с миром“. Потом он благословил палачей обеими руками и сказал: „Господь вас благословляет и прощает“. Великая княгиня Елизавета Феодоровна, основательница знаменитой Марфо–Мариинской обители милосердия, перед тем как озверевшие палачи сбросили ее и других узников в шахту рудника и закидали гранатами, произнесла молитву Спасителя заступничества: „Господи, прости им, не знают, что творят!“ <...> Исполнив заповедь о любви до конца, засвидетельствовав кровью своей, что человека, верного Богу, никто не может заставить отречься от заповеди о любви к человеку, святые мученики посрамили древнего человекоубийцу и обрекли на поражение дело Маркса — Ленина, **которые ради любви к человеку звали к освобождению человечества от заповеди любви к Богу** (то, к чему зовет и Иван. — Т. К.) и, преуспев в этом, развязали такую

Весь бунт Ивана — сплошная перверсия, извращение книги Иова. Достоевский пишет бунт Ивана *на фоне книги Иова*, рассчитывая на то, что она уже прочитана читателем его романа и понята правильно.

Но последние приведенные слова Ивана — это отсылка еще к одному тексту, вернее, еще одна перверсия в романе: через несколько страниц Иван расскажет об «одной монастырской поэмке» «Хождение Богородицы по мукам», где Богоматерь молит об избавлении от наказания и мучений всех грешников без различия. Иван рассказывает: «Разговор Ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, Она не отходит, и когда Бог указывает Ей на прогвожденные руки и ноги Ее Сына и спрашивает: как Я прошу Его мучителей, — то Она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с Нею и молить о помиловании всех без разбора» (14; 225). Богоматерь — всему миру Заступница и Покров — тому миру, который распял Ее возлюбленного Сына. Если мать не смеет простить мучителям, даже если сам ребенок простил им, — по той же логике мы все лишены заступничества и ходатайства Божией Матери.

Но, приводя — устами Ивана — средневековую поэму о Богородице, Достоевский все же имеет главной своей целью не опровержение Ивановых построений. Его цель — и это, может быть, самое большее, на что способно искусство, — заставить читателя пережить предание, испытать его как происходящее здесь и сейчас⁶. Сопрягая рассказ о затравленном в глазах матери ребенке с поэмой о Богородице, он напоминает читателям,

энергию ненависти в мире, что казалось, погибнет жизнь во всех ее проявлениях и никто не устоит, чтобы не ответить на ненависть еще большей, открытой или затаенной ненавистью <...> Но мир не погрузился во тьму, Церковь устояла в любви <...> Это тайна Церкви, пасхально радостной и гонимой, от апостолов, первомучеников и до наших дней, от первых русских святых Бориса и Глеба до последнего нашего святого Царя. Архидиакон Стефан, окруженный предателями и убийцами, которые рвались сердцами своими и скрежетали зубами, воззрел на небо и увидел отверзшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, и, когда его побивали камнями, молился, преклонив колени: „Господи, не вмени им греха сего!“ Когда история идет вспять, предавая смерти свидетеля, каждая такая смерть отверзает небеса, изливая Божественную энергию любви, проникающую в мир, и Савл, одобрявший это убиение, по молитве мученика становится Павлом». — Проповеди московских священников. М.: Трифонов Печенгский монастырь, 2000. С. 128–131.

⁶ Характеризуя «жанры серьезно–смехового» в качестве прародителей романов Достоевского, М. М. Бахтин пишет: «жанры серьезно–смехового не опираются на **предание** и не освящают себя им, — они **осознанно** опираются на **опыт** (правда, еще недостаточно зрелый) и на **свободный вымысел**; их отношение к преданию в большинстве случаев критическое, а иногда — цинично–разоблачительное. Здесь, следовательно, впервые появляется почти вовсе освобожденный от предания образ, опирающийся на опыт и на свободный вымысел. Это целый поворот в истории литературного образа» (Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 124). Достоевский использует этот секуляризовавшийся, освободившийся от предания и по–видимому основанный лишь на опыте образ, образ, который Иваном творится именно в русле, описанном Бахтиным, и именно в целях критики и разоблачения предания, — для того, чтобы предание засияло в его глубине, для того, чтобы пережив все происходящее со свежестью непосредственного опыта, мы обнаружили, что этот опыт и есть предание; чтобы мы встретились с преданием как с опытом.

утратившим способность живо воспринимать существо событий, произошедших в момент распятия, и связывать их с дальнейшей историей христианства, что же тогда на самом деле произошло — и что с тех пор происходит непрерывно. Все человечество стоит при распятии Христовом и виновно в нем — генерал, псарь, выполнившие приказ, дворня, глядящая на происходящее, — и одинокая мать смотрит на травлю и гибель своего младенца. Именно к этой матери все участвующие в травле (все мы — ибо каждый наш грех — гвоздь в теле Господнем) обращаются как к безотказной Предстательнице, Надежде тех, кому не на кого и не на что больше надеяться, последней Заступнице всеми отверженных.

Одинокая Мать стоит при кресте распятого нами Ее Младенца, а мы, припавшие к кубку жизни, глядя, — а часто уже даже и не глядя на Его страдания, едим ананасный компот и только сетуем, что нам мало его досталось. И к Ней-то мы и взываем во всякой нужде, беде и скорби: «Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь».

И вот, осознав это, можно почувствовать восторг до боли и счастье до слез.